**Илья Фаликов**

**Владимир Радзишевский. Между жизнью и смертью: Хроника последних дней Владимира Маяковского; Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928 — 1933**

**Составление, предисловие и комментарии: Д.Г. Санников**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Знамя» 2010, №2**](http://magazines.russ.ru/znamia/2010/2/)

*Перепек*

***Владимир Радзишевский.*** *Между жизнью и смертью: Хроника последних дней Владимира Маяковского. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009.*

***Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933.*** *Сост., предисл.   
и коммент. Д.Г. Санникова. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009.*

Между двумя этими книжками есть мостки, достаточно очевидные: то время, воистину переломное. Туда ведь встроен и 1929-й — сталинский “год великого перелома”, хоть и не назван, а звучит в полную силу. Маяковский стреляется в апреле 30-го, Белый уходит в январе 34-го.

У Маяковского не осталось никого, в смысле литературной и человеческой близости. В предсмертном письме он окликает лишь Ермилова, опричника по существу (“Надо бы доругаться”). У Белого появляется друг — Григорий Санников, хороший поэт скромного дарования, литературно-издательский функционер, ученик верный и восхищенный, один из тех ребят от станка и от сохи, прошедших горнило гражданской бойни, которых Белый в Пролеткульте учил уму-разуму. Им больше был знаком “товарищ Маузер”.

Маяковского в последние годы окружают гэпэушные дружбаны, председателем комиссии по организации похорон становится Агранов, убийца Гумилева, друг бриковского дома. То есть Маяковского хоронят как чекиста. С соответствующими почестями. Предварительным звуком надгробного салюта был выстрел из “Маузера”, выданного поэту — чекистом, тоже корешем.

На суперобложке книжки Радзишевского (и внутри нее) помещена фотопанорама ул. Воровского (Поварской) во время похорон: проводы в крематорий. Море народное. С Некрасова началось.

Радзишевский цитирует Л. Гинзбург, которая пишет о тотальном переполохе в ленинградском Госиздате по поводу гибели Маяковского, приводя слова Груздева: “Как в день объявления войны”.

Нет, хоронили не почетного чекиста.

А. Белый ушел тихо. Незадолго до этого Санников помог ему передохн*у*ть — перевести дух — в Коктебеле. Там было холодно. Дул ветер, палило солнце. Идет бурная переписка. Постоянные жалобы на расширение сердца. “Осталось жить недолго”. Это и есть то, от чего Пастернак предостерегал молодого Евтушенко: не говорить в стихах о своей смерти (об этом упоминает Радзишевский).

Белый жалуется: “Ломит голову”. Предполагает: видимо, перегулял в холмах. Обронилось слово: **“перепек”**. Какое андреебеловское словцо!

Это было время сплошного “пере-”. Перепек: перелом, перенапряг, перегиб, перепуг, перебор во всем: в работе, в полном неустройстве быта, в диких попытках оседлать новую эпоху, обрести устойчивость. Финал один, хотя и в разных формах: выстрел и артериосклероз.

Белый получил пенсию от правительства в ноябре 1931-го. Долго не верил привалившему счастью. Вложившись в кооператив, он должен был оказаться соседом Осипа Мандельштама. Вот бы обрадовался... Он и в письмах Санникову поругивал эту несносную чету Мандельштамов, соседей по столу в столовке. Ему там все нравились, даже “очаровательный” Мариенгоф. “Одни Мандельштамы с закавыкою”. Жутко обрадовался их отъезду из Коктебеля.

Наверно, Белый недостаточно внимательно читал Мандельштама. Иначе он увидел бы еще в “Камне”, в таких вещах, как “Теннис” или “Американка”, определенно свой след. Читал ли он его вообще? Читал. Но давно. Назвал “пэоннейшим из поэтов” (ок. 1910).

Ни слова о себе-поэте. Как нет его и не было, поэта Андрея Белого. За все шесть лет переписки — ни слова. Вся лирика выливается на тот момент в эпистолярий. Мимоходом — крайне осторожно — сообщает: “Коктебель кишит бродягами с Украины”. А Мандельштам пишет: “Природа своего не узнает лица, / И тени страшные Украйны и Кубани — / На войлочной земле голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая кольца…” Вот разница.

Разница и в том, как оплакал этот несимпатичный Мандельштам уход Белого. “На тебя надевали тиару — юрода колпак, / Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!” Тут он соединился с Пастернаком, подписавшим некролог о Белом в “Известиях”, в основном написанный Санниковым. Подписантов было трое: Пильняк, Пастернак, Санников. Тоже странная конфигурация.

Белый как собеседник весьма пластичен. Воспел в очередном (он стал нумеровать письма) послании Коктебель, “древнее сердце Киммерии”, а когда услышал в ответ от Санникова гимн русской природе на высоком берегу Москвы-реки, тут же обругал Коктебель и подключился к оному гимну. Гибкость его поступков и мыслей, скорость отклика и переключений — изумительны. Прочитав производственную вещь Санникова — роман в стихах “В гостях у египтян”, сам решил сотворить что-то такое же, пожив при дорожном строительстве через Кавказский хребет. Очень даже увлекся идеей соцреализма, задумав статью на сей счет. Он ищет дружбы с Ф. Гладковым, автором фундаментального “Цемента”, и находит ее (кстати, и в той переписке возникает Мандельштам с теми же характеристиками). Он не знает имени Фадеева, но очень хочет узнать, дабы отреагировать на добрый жест со стороны и этого функционера. Ему это удается.

Шло (само)разрушение. Зримое, безусловное, (само)предреченное.

Мысль Мандельштама — в передаче Надежды Яковлевны — о том, что большевики приняли литературную иерархию из рук символистов, в случае Санникова более чем очевидна. На практике — в стихах — у пролетарского поэта было мало чего от творчества обожаемого образца. Но вот уж кто действительно многому научился в стихах у Белого, так это Маяковский. “Разобрала формальная новизна” (“Я сам”). Он спервоначалу пошел за Белым не только в неравностопности строк в рамках строфы, в метрической свободе, но и в самой разбивке строк, в графике своих ранних вещей. Впоследствии и Белый воспользовался иными достижениями ученика, в частности — комбинированной лесенкой, на свой собственный лад.

Санников не прыгает выше головы, знает свое место, держится с достоинством, не уходит от главного — от практических дел. Он не забывает о деловой подоплеке этих отношений, даже когда цитирует при случае Боратынского: явный след учебы у Белого. Сдается, Санников больше был завоеван личностью и лекционным величием Белого. Магнетизмом его мифа, совершенно наглядного. Но так было со всеми, кто видел этого человека. Белый пришел с “Золотом в лазури” — с книгой о солнце. Он умер от солнечных стрел.

Начав с восхищения Блоком, Белый закончил восторгами в адрес пролетарской литературы: Санников, Гладков. Ахматовское определение “божественный лицемер” (о Пастернаке) можно бы и вспомнить, но пластичность Белого была не настолько “божественной”, чтобы вписаться в соцреализм. Смерть делегировала ему свою полную правдивость.

Книга переписки Белого с Санниковым подготовлена Д.Г. Санниковым, сыном поэта, известным физиком. Это большая и честная работа.

Маяковский не оставил сыновей. Но тот, кто пишет и думает о нем, в каком-то смысле наследует ему. В. Радзишевский — совместно со Ст. Лесневским — недавно (2007) составил (плюс предисловие и примечания) великолепный том раннего Маяковского “Флейта-позвоночник”, вышедший в той же “Прогресс-Плеяде”. В “Между жизнью и смертью…” автор вряд ли претендует на новое слово в маяковедении. Это книга не про стихи — про жизнь и смерть. Он оперирует известной информацией, достоверной и не очень. Когда не очень, немедленно опровергает. Прежде всего ему претят фантазмы зловещей ликвидации поэта. Нет, он не вступается за чисторуких чекистов. Он излагает факты. Подводит итог сказанному до него. Это заключительная глава, если не эпилог некоего тома ЖЗЛ, выполненного чуть не на телеграфе.

Лучшее у Радзишевского — летописная лапидарность. Лаконичными мазками — портрет времени. Суховатая интонация хроникера, не без элементов сарказма. В двух словах — портреты современников, сюжеты, ситуации. Работает синематограф, лента крутится, фильма идет, аппарат стрекочет, кадры мелькают.

Вот промелькнул некто Регинин, журналюга, выпивший, как обещал, чашку кофе в клетке с тиграми — не фигурально, а на самом деле. Лихие были люди.

Или — Роскин, друг катаевского дома: ему Катаев, переезжая на Лаврушинский переулок, оставил прежнюю квартиру и жену.

Или — Бескин, нечаянно проливший горячий чай на брюки за столом, под комментарий Маяковского: “Бедная Лилия Юрьевна!” Чай. Горячий. Возможно, в область паха. Бедная Л.Ю. “Мелкий Бескин”, по слову Крученых.

Это уже не жизнь втроем, нечто иное. В том кругу был социализм без берегов. Маяковский, встречаясь с женой приятеля, яростно ревнует ее и к мужу, и к ее товарищу по работе. Оный товарищ интересуется: Маяковский, когда вы застрелитесь?

Коммуналка на Лубянке, где в своей комнатушке время от времени по рабочим и любовным делам появлялся Маяковский, была густо населена, а в тот роковой день там происходило столпотворение. Однако и сам быт поэта, живущего в гуще коммунального народа, вкратце обрисован. Маяковский умел задействовать всех. Юную соседку — в качестве секретарши-машинистки. Соседка снизу, экс-домработница Романа Якобсона, убиралась у него и готовила ему по временам.

Он был известным белоручкой, брезгливцем, крайним аккуратистом. В комнате — образцовая чистота, порядок, ничего лишнего. Он и свой “Рено” не водил — содержал шофера. Его “Рено” было игрушечно маленьким, комнатка на Лубянке — крохотная, около двенадцати метров. Барство его преувеличено сплетниками. Кабинетик в коммуналке — не ахти какое материальное достижение первого государственного поэта эпохи.

В год великого перелома он дулся в картишки с чекистами. Последние его дни — сплошной картеж и проигрыш. 14-го — в пух. В тот день он был в желтых ботинках, в желтых брюках и в желтой рубахе. С галстухом-бабочкой.

Если вглядеться, наш поэт — типичное, кровное дитя декаданса. На заре XX века выросло поколение, стреляющееся у дверей возлюбленной (Вс. Князев) или, как А. Лозина-Лозинский, по нескольку раз покушающееся на свою жизнь. Принять яд и вести дневник до минуты смерти — стиль эпохи, а не модное поветрие. Литературные женщины тоже приносили себя в жертву такому миропониманию: Н. Львова, Н. Петровская. Генерация суицида. Маяковский погиб с третьей попытки. Происходили осечки. Одна из них — NВ! — в октябре 1917 года.

Войдя в революцию, уцелевшие вскормленники (говоря по-мандельштамовски) злополучного Серебряного века продолжили начатое. Жажда внутреннего преображения была лишь одним из вариантов символистического жизнестроительства, с переменой декораций. “Мейерхольдия” (словцо Блока). Жизнь-спектакль. Железные конструкции на сцене, биомеханика. Кровавый финал. Пролетарий в галстухе-бабочке.

Последние дни Маяковского — это клиника, помрачение сознания, сон разума. Одна только выходка с художницей Валентиной Ходасевич чего стоит: в цирке на Цветном бульваре под истерически-громовый вопль “Мне все говорят “Нет!”” сорвать человека с работы, усадить в “Рено”, немного проехать в состоянии полного отсутствия и, выскочив из машины, бросить на дороге. Дикий цирк.

Убиться назло возлюбленной. Ее наказать. Размахивать пистолетом. Стоя на коленях перед ней.

Так совпало, что, когда я прочел книжку Радзишевского, именно в тот же апрельский вечер по ящику показали кино “Я шагаю по Москве”: крупным планом огромное памятниковое лицо Маяковского. Умри, Ницше, это Сверхчеловек, Властелин Вселенной. Ставя монумент, власть прекрасно знала, что в лице модели имела дело с неврастеником, хрупчайшей психосоматикой, и вот он — столп системы, опора идеи. В картах это называется передергиванием.

В 57-м в Саратове старушка Бострем, скульпторша, соседка моей бабули, ее подружка, на все корки честила эту статую: ваятель Кибальников, автор памятника, — из Саратова и, кстати, цыган по национальности. Фурию возмущала фальшь замысла и скверное решение. Мне, огнепоклоннику Маяковского, выслушивать те филиппики было трудно. Старушки были старорежимными, они все помнили.

Конечно, это был суицид революции. Политический хитрован Сталин превознес Маяковского, чтобы смазать смысл 14-го апреля. Позднейший поступок Фадеева — прямое продолжение этого выстрела.

Маяковский спросил Светлова: “Слушай, Миша, а меня не посадят?”. Гэпэушные дружбаны были подушкой безопасности — номер не прошел. Сами висели на волоске. Их уничтожили довольно скоро. 14 апреля из настоящих, старых друзей только Асеев и Пастернак прибежали на место гибели. Фантасмагория времен: оба они дожили до старости.

Маяковский озаглавил предсмертное письмо: ВСЕМ. Радзишевский напоминает: так Ленин начал свое послание народонаселению — утроенным “Всем” — после залпа “Авроры”.

“Лиля — люби меня”. Не я тебя люблю, а ты меня люби — таков Маяковский.

Поэт помещает в письме неновый набросок стихотворения, и это — романс, или пародия на романс, или его имитация. “Любовная лодка разбилась о быт, я с жизнью в расчете…” Такое пел Вертинский. Такое спел напоследок Есенин.

Он продублировал есенинский финиш, пафосно осудив его в недавнем шедевре. Но он и курить стал опять в последние дни в карточном угаре, почти вчера создав антиникотиновую инвективу для масс, — ему заметили: как вы можете? Мне — можно.

О матери его никто не подумал поначалу в той страшной суматохе. А он думал. Больше всего боялся огорчить мать. С матери дважды начинает в предсмертном разговоре о семье. Да и в “Облаке в штанах”: “Мама! Ваш сын прекрасно болен”. Думал и о сестрах. Переросток, колоссальный маменькин сынок.

Праху Маяковского двадцать лет не было места. Площадь Триумфальную переименовали в площадь Маяковского — в принципе, это синонимы. В старину здесь поставили в ознаменование победы Петра в Северной войне “врата Триумфальные”, через которые император въехал в Москву, и, кстати, внешне они определенно смахивали — царь и поэт, а в Грузии, например, этих обоих великанов считают грузинами. Мифы бессмертны.

Цена поэтского триумфа чудовищно велика.